



## И. В. ОДОЕВЦЕВА

### На берегах Сены

<фрагменты>

<...> Бунин мог быть иногда очень неприятен, даже не замечая этого. Он действительно как будто не давал себе труда считаться с окружающими. Все зависело от его настроения. Но настроения свои он менял с поразительной быстротой и часто в продолжение одного вечера бывал то грустным, то веселым, то сердитым, то благодушным.

Он был очень нервен и впечатлителен, чем и объяснялась смена его настроений. Он сам сознавался, что под влиянием минуты способен на самые сумасбродные поступки, о которых потом жалел.

— И зачем только я его огорчил? — с недоумением спрашивал он. — Ах, как нехорошо вышло. Зря человека обидел... <...>

Ни мстительности, ни зависти, ни мелочности мне никогда не приходилось видеть в Бунине. Напротив — он был добр и великодушен. Даже очень добр и великодушен. И по-настоящему щедр. Так, он в 1930 году, прочитав талантливую первую книгу «Кадеты» Леонида Зурова, жившего в Эстонии, выписал его к себе, и с той поры и до самой своей смерти содержал его и заботился о его литературной карьере, хотя пребывание Зурова в его семье принесло Бунину много огорчений и неприятностей.

Но кроме Леонида Зурова у Буниных в Грассе часто гостил и Николай Роцин, по прозвищу «Капитан». От него, как и от Зурова, Бунин видел много радости — и полное отсутствие благодарности.

Гостили в Грассе и другие, несмотря на то, что, по определению самого Ивана Алексеевича, в те времена — до получения Нобелевской премии — в доме Бунина «жили впроголодь и часто обедали через день». Бунин любил окружать себя теми, кого считал своими учениками и последователями, и часто появлял-

ся в Париже в сопровождении своей свиты. Злые языки прозвали ее «бунинским крепостным балетом».

Бунин был способен на почти героические поступки, что он не раз доказал во время оккупации, когда, рискуя жизнью, укрывал у себя евреев.

Все его дурные черты как бы скользили по поверхности. Они оставались внешними и случайными, вызванные трудными условиями его жизни или нездоровьем. К тому же, его нервная система была совершенно расшатана. Нельзя забывать, что нервно он получил в «проклятое» наследство не только от отца-алкоголика, но и от мученицы матери, слишком много видевшей горя с самого начала своего замужества. <...>

Он тогда недавно издал «Темные аллеи» и возмущался, что их недооценивают и даже осмеливаются осуждать.

— Я считаю «Темные аллеи» лучшим, что я написал, — заявлял он запальчиво, — а они, идиоты, считают, что это порнография и к тому же старческое бессильное сладострастие. Не понимают, фарисеи, что это новое слово в искусстве, новый подход к жизни!

Мне нравятся «Темные аллеи». Но меня удивляло количество самоубийств и убийств в них. Мне кажется, что это какое-то юношеское, чересчур романтическое понимание любви. Чуть что — ах! И она вешается, или он стреляется, или убивает ее. Я говорю ему об этом очень осторожно.

Он сердито пожимает плечами:

— Вот как? По-вашему, незрело, романтично? Ну, значит, вы никогда не любили по-настоящему. Понятия о любви у вас нет. Неужели вы еще не знаете, что в семнадцать и семьдесят лет любят одинаково? Неужели вы еще не поняли, что любовь и смерть связаны неразрывно? Каждый раз, когда я переживал любовную катастрофу — а их, этих любовных катастроф, было немало в моей жизни, вернее почти каждая моя любовь была катастрофой, — я был близок к самоубийству. Даже когда никакой катастрофы не было, а просто очередная размолвка или разлука. Я хотел покончить с собой из-за Варвары Пащенко. Из-за Ани, моей первой жены, тоже, хотя я ее по-настоящему и не любил. Но когда она меня бросила, я буквально сходил с ума. Месяцами. Днем и ночью думал о смерти. Даже с Верой Николаевной... Ведь я был все еще женат, и моя первая жена мне назло не желала со мной разводиться. Я боялся, что Вера Николаевна откажется. Не решится соединить свою жизнь со мной. Ведь это было еще до первой мировой войны. Светские условности и предрассудки «Анны Карениной» были еще живы. А она — Муромцева, дочь извест-

ного профессора, племянница председателя I Думы. Но жизнь без нее я себе не представлял. Если бы она не решилась, отказала мне, я бы непременно... — он замолкает на минуту, глядя в окно. — И теперь еще, — голос его звучит устало и грустно. — Совсем недавно. Вы же знаете... <...>

Он снова достает табак из кармана халата, аккуратно скручивает папироску и, закурив, продолжает, глядя на меня, а не в окно:

— В сущности, я был очень несчастен в ранней молодости. Хотя я, как редко кто, расположен к счастью. Казалось бы, как в молодости не быть счастливым? Но столько противоречивых страстей терзали, просто рвали меня на куски. К тому же бедность. И характер у меня тяжелый. Не только для других, но и для меня самого. Мне с собой не всегда легко. А «vivre loin de moi-même», как жил, по его словам, Анатоль Франс, — не могу, не научился. Прав Малларме: «Поэт должен быть несчастен». А я все-таки, хотя вы с Болгариним и не признаете моих стихов, прежде всего поэт. Поэт! А уж потом только прозаик.

Он смотрит на меня с вызовом и явно готов отпарировать какой-нибудь выпад вроде: «Нет, я не согласна. Вы — прозаик. И стихи ваши — стихи прозаика. Ведь и Тургенев писал стихи. И неплохо. Хотя бы “Утро туманное”».

Но мы уже не раз спорили об этом. Я молчу. И он, сделав паузу и убедившись, что возражений не будет, продолжает:

— Вот я говорю по трафарету — поэту полагается быть несчастным. Вздор, совсем не полагается, совсем не обязательно. Даже напротив. Счастье тоже может вести к поэзии. И к святости. Я в этом глубоко уверен. Ведь — опять же по трафарету — одни страдания ведут в святости. Надо как-то оправдать и облагородить, украсить страдания — вот и делают их лестницей, по которой поднимаешься на небо к поэзии и святости. А мне иногда до слез жаль, что длительно счастлив я никогда не был. Только вспышками. Минутами. Гете говорил, что он за всю жизнь был счастлив всего лишь семь минут. Я все-таки, пожалуй, наберу, наберу счастливых минут на полчаса — если с детства считать. Ведь я очень, до страсти, любил свою мать.

— А когда вы получили Нобелевскую премию? Неужели вы и тогда?..

— Ах, нет! — перебивает он меня, болезненно морщась. — Совсем нет. Секунду одну. Когда в кинематографе, в темноте, вспыхнул фонарик и я услышал: «Звонили из Стокгольма!» Ведь столько мучительного, с ума сводящего ожидания, столько бессонных ночей!.. А когда я понял, поверил, осознал, сразу будто

пусто внутри стало. И даже на скуку похоже, и на разочарование. И вся эта утомительная возня, морока с поездкой в Стокгольм. Только милый Яша Цвибак меня и развлекал — всегда веселый, энергичный. И как ловко он со всем справлялся. Без него бы я пропал. Меня ничего не радовало, все утомляло и злило. Потом, конечно, приятно было вспомнить. Да и лестно. Я ведь честолюбив. Не скрываю — очень честолюбив.

Бунин выходил на прогулку только на закате, хотя Вера Николаевна и доктор старались убедить его, что это безумие — он каждый раз рискует простудиться.

Предсказания и предупреждения их, кстати, сбылись: в результате этих прогулок Бунин болел воспалением легких не только в тот раз, но и в следующем году, когда он снова приезжал с Верой Николаевной в Жуан-ле-Пэн.

Упрямыства его никто победить не мог, даже он сам. Ведь он прекрасно знал, что этот закат, что «этот блеск — есть смерть», — и все же ежедневно подвергал себя риску заболеть, только бы еще раз увидеть великолепный, торжественный средиземноморский закат.

Обыкновенно он гулял один.

— Терпеть не могу, не переносу, — объясняет он свое пристрастие к одиночеству, — чтобы со мной рядом этакий ротозей порол всякую чепуху или, что еще хуже, восхищался идиотски: «Ах, какое фантастическое облако! А нарисовать — ведь не поверят!» А если шагает молча и смотрит, как корова на новые ворота, — тоже противно, тоже злит меня. Значит, брюхом всю эту красоту переживает. Сдерживаюсь, чтобы не послать его ко всем чертям в преисподнюю, где ему уже место заготовлено. И уж какое тут наслаждение возможно!..

Наслаждение. Да, как ни удивительно, Бунин всегда наслаждался каждым, даже мимолетным общением с природой. Каждый порыв ветра, прозрачность воздуха, надвигающаяся гроза, перемена освещения — все регистрировалось им мгновенно, волновало и радовало.

Он был неразрывно связан с природой, и связь эта ощущалась им иногда не только как радость, но и как мучение — настолько была она самодовлеющей, все себе подчиняющей, настолько прелесть мира до боли восхищала и терзала его.

Зрение, слух и обоняние были у него развиты несравненно сильнее, чем у обыкновенных людей.

— У меня в молодости было настолько острое зрение, — рассказывал он, — что я видел звезды, видимые другим только через телескоп. И слух поразительный — я слышал за несколько

верст колокольчики едущих к нам гостей и определял по звуку, кто именно едет. А обоняние — я знал запах любого цветка и с завязанными глазами мог определить по аромату, красная это или белая роза. Это было какое-то даже чувственное ощущение.

Раз со мной такой случай произошел. Поехали мы с моей первой женой, Аней, к ее друзьям, на дачу под Одессой. Выхожу в сад вечером и чувствую — тонко, нежно и скромно, сквозь все пьянящие, роскошные запахи южных цветов тянет резедой.

— А у вас тут и резеда, — говорю хозяйке. А она меня на смех подняла:

— Никакой резеды нет. Хоть у вас и нюх, как у охотничьей собаки, а ошибаетесь, Ваня. Розы, олеандры, акации и мало ли что еще, но только не резеда. Спросите садовника.

— Пари, — предлагаю, — на 500 рублей.

Жена возмущена:

— Ведь проиграешь!

Но пари все же состоялось. И я выиграл его. Всю ночь до зари во всех клумбах — а их было много — искал. И нашел-таки резеду, спрятавшуюся под каким-то широким, декоративным листом. И как я был счастлив! Стал на колени и поцеловал землю, в которой она росла. До резеды даже не дотронулся, не посмел, такой она мне показалась девственно невинной и недоступной. Я плакал от радости. Что вы смотрите на меня? Не верите? Думаете, вру? — в голосе его уже звенит раздражение.

Я чувствую, что краснею.

— Неужели действительно плакали?

— Действительно. Я ведь вообще легко плачу, — это у меня наследственное — романтическая певучесть и слезоточивость сердца, — от отца. Плакал, да и теперь плачу по разным поводам — от горя, от обиды, от радости. Особенно много от любовных огорчений. И ревности. Я ведь очень ревнив, и это такая мука.

Я не могу скрыть удивления. Нет, я никак не ожидала. Я бы не поверила, если бы мне сказали, что Бунин плакал. Мне трудно представить себе, что из его зорких, холодных глаз могут течь слезы.

— Не вяжется с вашим представлением обо мне — свирепый эгоист, эгоцентрик, мнящий себя солью земли? Так ведь? А о моей душе вы не подумали? У меня ведь душевное зрение и слух так же обострены, как физические, и чувствую я все в сто раз сильнее, чем обыкновенные люди, и горе, и счастье, и радость, и тоску. Просто иногда выть на луну от тоски готов. И прыгать от счастья. Да, даже и сейчас, на восьмом десятке. Хотя какое же у

меня теперь счастье? Конец жизни похож на начало. Нищенская, грустная юность, нищенская, тяжелая старость. Сколько унижения, оскорблений! С протянутой рукой — парлэ ву франсэ, шпрехен зи дейч? Подайте великому писателю, Нобелевскому лауреату! Это при моей-то гордости, — ведь я нечеловечески, я дьявольски горд, и почести и поклонения принимал всегда как должное. Представляете себе, каково мне теперь? А?.. Представляете?..

<...> Мы сидим перед печкой.

Бунин простудился и второй день не выходит из своей жарко натопленной комнаты. Сидя в кресле, высоко закинув ногу на ногу, поминутно раздраженно, с брезгливым выражением лица запахивает полы своего верблюжьего халата. На голове у него, в изъятие из правил, — не шляпа и не кепка, а каракулевая шапка, которую он надевает — идя на прогулку.

— Я в собачьем настроении, — запальчиво заявляет он мне, как будто это и так не ясно.

Я молчу. Я по опыту знаю, что, когда он «в собачьем настроении», говорить не следует. Все, что ни скажешь, только рассердит его. Я чувствую себя неловко.

Может быть, мне лучше всего уйти? Молча? Не попрощавшись с ним? Но я не решаюсь встать.

Он смотрит в огонь отсутствующим взглядом и медленно и задумчиво произносит, будто говорит сам с собой.

— Какая у меня отвратительная, мерзкая старость! Но и молодость была не лучше. Сколько тяжелого. Дикое одиночество. И нищенская бедность. Я о всем этом потом просто и вспоминать не хотел. Вычеркнул из памяти. А теперь нет, нет да и вспомнится. И так ясно, будто это все вчера было, будто я из молодости прямо перешагнул в старость. А всего остального и не существовало.

Он наклоняется, берет кочергу и начинает поправлять дрова в печке. Медленно и осторожно, а не разбрасывает их яростно, так что искры вылетают во все стороны. Одна из таких искр недавно прожгла мою юбку.

Значит, он не сердится. И значит — за месяц нашего совместного пребывания в Жуан-ле-Пэн я успела изучить переходы его настроений и привычки — он, по всей вероятности, собирается говорить о себе, «погружается в свое прошлое». Пауза. Я жду. И он снова так же задумчиво продолжает:

— Вот все думают, что «Жизнь Арсеньева» — моя автобиография. Но я о многом, об очень многом, о самом тяжелом не писал. «Жизнь Арсеньева» гораздо праздничнее моей жизни. В ней

много подтасовано и подтушевано. А ведь никто не верит. И мне это неприятно.

Он поворачивается ко мне, этим движением производя меня в слушателя и даже в собеседника.

И я спрашиваю, осмелев:

— Почему бы вам, Иван Алексеевич, не написать комментарии к «Жизни Арсеньева» и все поставить на свое место?

Он морщится.

— Ну нет. Ни к чему это. И не удалось бы мне. Я пробовал писать о себе правду. Не удавалось. Должно быть, от душевной застенчивости. Я ведь болезненно стыдлив, целомудрен и застенчив внутренне — хотя никто не верит. Мне как-то стыдно писать о себе правду.

— А в ваших письмах? Ведь вы такие изумительные письма пишете.

Он снова морщится.

— Ну, уж о письмах и говорить не стоит. Кто когда писал правду о себе и о других в письмах? Всегда надо считаться с тем, кому и когда они написаны, учитывать, сколько в них фальши, желания польстить тому, кому они адресованы, или, напротив, самохвальства. И чисто литературной красоты. Ведь я всегда помню, что мои письма всеми сохраняются и рискуют быть напечатанными после моей смерти. Хотя вот уже сколько лет прошу и завещаю, чтобы все мои письма — до последнего — сожгли. Разве кто-нибудь в письмах до конца честен, правдив и откровенен? В особенности писатели? В жизни можно быть честным, в письмах нельзя.

<...>

Бунин сердито сдвигает брови.

— Чем же вам «почти конец» «Лики» не угодил? — насмешливо спрашивает он.

И я говорю правду.

— Укусные деревья... — и перевожу дыхание. — Все так прелестно и поэтично, все, как продолжение сна. Так чудесно, «точно по воздуху пошел». И вдруг эта аллея укусных деревьев.

Эти укусные деревья действительно каждый раз, когда я перечитывала сон о давно умершей Лике, портили мне все очарование. Какие такие укусные деревья? Я их никогда не видела, я не могла себе их представить, но чувствовала, что у меня от них сводит рот, будто я глотнула укуса.

Я опускаю голову. Я боюсь взглянуть на него, увидеть его негодующее лицо.

Но он не негодует, не сердится. Он говорит задумчиво:

— Знаете, пожалуй, вы и правы. Это мне и в голову не приходило. Для меня укусное дерево все равно что тополь или кипарис — обыкновенное дерево. А для вас, северян, оно не сливается с пейзажем, а назойливо торчит таким вопросительным знаком, о который разбивается ваше внимание. — И добавляет, помолчав: — Вполне дельное замечание. А что вы так любите «Лику» — мне приятно, я и сам люблю ее больше всего в «Жизни Арсеньева».

Он закидывает ногу на ногу. У него узкие, аристократические ноги, и он, как он сам не раз признавался, гордится ими. «По рукам и ногам порода видна».

— Да, — говорит он, глядя в огонь, — вот вам, я знаю, не нравится обилие описаний природы у меня. Вам они скучны. А ведь нельзя отделить человека от природы, ведь каждое движение воздуха — движение нашей собственной жизни. Мы слиты с природой, мы часть ее. Это надо чувствовать. Если не любить природы, не можешь любить и понимать человека. А тогда и писать не о чем и незачем. Мало ли какие приятные занятия можно кроме писания найти. Да и писание совсем не приятное занятие, а изнурительный труд. И мука.

Я не прерываю его, и он, помолчав и по-старчески пожевав губами, продолжает:

— Знаете, какой главный недостаток ваших писаний? — Он делает паузу и произносит веско: — Слишком интересно. Слишком динамично, будто одним дыханием. Да, представьте себе! Вы изумлены, вам кажется, что это ваше главное достоинство, а выходит наоборот. Вы как вцепитесь в читателя, так и катаете его в лифте вверх и вниз, не давая ему отдохнуть, прийти в себя, отложить книгу, пойти по своим делам. Где уж там! Если начнешь читать вечером, так и будешь читать до вторых петухов. Вам кажется, что так и надо, что это хорошо? Вы этого и добиваетесь?

Он смотрит на меня насмешливо.

— Напрасно, сударыня! Пушкин говорил: поэзия, прости Господи, должна быть глуповата. А я говорю — проза, прости Господи, должна быть скучновата. Настоящая, великая проза. Сколько в «Анне Карениной» скучных страниц, а в «Войне и мире»! Но они необходимы, они прекрасны. Вот у вашего Достоевского скучных страниц нет. Нет их и в бульварных, и в детективных романах. Я не читал, но был такой роман — я видел объявление в газете «Сегодня»: «Только факты, сэр!» Лучшего названия не найти.

И вдруг, раздражаясь, отчеканивает:

— Я бы сжег эти «Только факты, сэр!» вместе с автором, тут, в печке. <...>

Меня всегда поражает в Бунине то, что я при каждой встрече с ним как бы вижу его в разные эпохи его жизни.

Вот сейчас он совсем молодой. Глаза его полны отвагой и желанием все себе подчинить, и ясно, что он чувствует себя центром мира. Но ведь только что он так устало опускал лиловато-серые тяжелые веки над подпухшими зоркими, безнадежно грустными, старческими глазами и беспомощно жевал губами.

Он слегка наклоняет голову. Я больше не вижу его глаз. Лицо его, освещенное двойным светом средиземноморского заката за окном и пылающей печки, медленно теряет свое юношеское веселое и злое сверкание, становится матовым, не молодым и не старым, умным лицом, вне возраста.

— Меня всегда, как ни странно, тянуло к кладбищам, — заявляет он, и неожиданный переход от Нобелевского лауреата к кладбищам слегка сбивает меня с толку. И пугает. Неужели он опять начнет о смерти?

Но он продолжает деловито:

— Сколько я их на своем веку перевидал. И даже писал о них. Помните мой рассказ о могиле Терезы-Анжелики Обри — богини Разума?

— Да, я помню. Я ходила на Монмартрское кладбище и отыскала ее, прочитав ваш рассказ.

— Вот это хорошо, — одобряет он. — Если даже не ходили, а только сейчас выдумали, чтобы доставить мне удовольствие, то и это хорошо.

— Нет. Честное слово, ходила.

Он кивает.

— Что ж, верю. — И, сделав паузу: — А страсть к кладбищам русская, национальная черта. Страсть к кладбищам очень русская черта. В праздничные дни провинциальный город — ведь вы, и как это жаль, совсем не знаете русской провинции — великодержавный Санкт-Петербург — как будто все в нем одном. На праздниках на кладбище фабричные всей семьей отправлялись — пикником — с самоваром, закусками, ну и, конечно, с водочкой. Помянуть дорогого покойничка, вместе с ним провести светлый праздник. Все начиналось чинно и степенно, ну а потом, раз, как известно, веселие Руси есть пити, напивались, плясали, горланили песни. Иной раз и до драки и поножовщины доходили, до того даже, что кладбище неожиданно украшалось преждевремен-

ной могилой в результате такого праздничного визита к дорогому покойничку. <...>

Я ставлю перед ним на подоконник пепельницу и осторожно спрашиваю:

— Вы себя хорошо чувствуете сегодня, Иван Алексеевич?

Он возмущенно пожимает плечами.

— Что за дикий вопрос! Я уже забыл, когда я себя хорошо чувствовал. Отвратительно — вот как я, изволите ли видеть, себя чувствую. От-вра-ти-тельно!

Он резко и раздраженно выхватывает пакет табаку из кармана халата и начинает сворачивать папиросу, но вместо того, чтобы закурить, кладет ее в пепельницу рядом с коробкой спичек и говорит, глядя прямо в окно:

— Неужели ни одна добрая душа не вспомнит обо мне? Если бы вы еще любили меня, то не могли бы видеть без негодования ту бесславную жизнь, которой я теперь живу.

К кому он обращается? К небу, к пальме в саду или к Альпам на горизонте. Во всяком случае, не ко мне.

Я молча снова усаживаюсь за свой черный стол и жду. Он поворачивает голову и вскидывает на меня глаза.

— Думаете, это я? А это опять же Макиавель. Все он как будто за меня говорит.

Он на минуту задумывается.

— Вот я, читая, оторваться не мог, — продолжает он. — А дочитав, что ж? И хорошо и плохо. «Теза и антитеза», по выражению самого Мережковского. Недостает убедительности в разговорах и размышлениях. И утомительно и растянута. Следовало бы навести стиль, подчистить и сократить. И, хотя это и замечательно интересно, а все-таки только прикладное искусство — к настоящей, высокой литературе никак не относится. Написать рассказ о жизни обыкновенных людей Мережковский не в состоянии. Ему подавай героев, святых, королей, знаменитостей. За блеском их имен он прячет свое творческое бессилие. И правильно делает. Набрел на интересную тему, «на историческое» — и прекрасно с ней справился. До него ведь у нас настоящих исторических романов не было. Все эти Загоскины, Салиасы и Соловьевы — чтение для юношества. А у него серьезный подход к событиям. И знаний много.

Впрочем, и тут он иногда увлекается. Например, с Джиокондой. Ведь она одна из немногих загадок истории, вроде «Железной маски». Ведь Джиоконда — миф. Неизвестно даже, чей это портрет — женщины или юноши. А у него и она и ее роман с Лео-

нардо да Винчи протокольно описан и доведен до ее смерти. Да и в остальном много безудержной и безвкусной фантазии.

Вот с ведьмами, с шабашем, тут уж сомневаться не приходится. В ведьмах кто-кто, а уж он, муж Зинаиды Гиппиус, толк знал. Недаром ее Белой Дьяволицей прозвали. Она ведь с ним и с Философовым всякие мистерии, радения и «Тайны трех» разыгрывала, свое собственное кощунственное неохристианство с чертовщинкой изобретала. Меня, Бог миловал, они не соблазнили и не приглашали ни духовно, ни телесно соединиться с ними. Но многих они соблазнили. Гиппиус у них своего рода Хлыстовской Богородицей была. Впрочем, что они там проделывали, я толком не знаю. Не интересовался. Я душевно брезглив.

Он наконец закуривает и говорит, следя за дымом папиросы:

— Терпеть не могу Мережковского и его писаний, а тут даже симпатию к нему почувствовал. И засомневался — прав ли я? Не слишком ли строго сужу его? Все-таки «Леонардо да Винчи», да и вся трилогия замечательна. Этого одного достаточно, чтобы прославить писателя.

А все, что он тут в эмиграции настроил, следовало бы для его посмертной славы попросту уничтожить.

Тут уж я не могу не протестовать:

— Ну нет. Вряд ли Мережковского радовала бы такая посмертная слава. Ведь он считал, что перерос себя, из писателя превратился в пророка. Его все последние годы интересовало только «Царство духа», и он стремился достичь его, воплотить его в своих писаниях. Исторические романы казались ему чем-то мелким, ненужным по сравнению с грандиозной задачей, которую он задал себе.

Бунин пожимает плечами.

— Что ж из этого? Писатели редко судят правильно о себе. Вздор, что «ты сам свой высший суд». Со стороны судят гораздо правильной.

— А вы ведь уверены, что правильно судите о себе? Не так ли, Иван Алексеевич? — задаю я коварный вопрос.

Он надменно щурится.

— Представьте себе, сударыня, совершенно уверен и убежден, что не ошибаюсь. Поэтому-то я, что бы вы там со слов вашего Гумилева ни говорили, и ценю так свои стихи. Больше всего. И «Темные аллеи». Я, не в пример Мережковскому, написал в старости лучшее в своей жизни, а он чем дальше, тем все хуже писал — стиль у него стал совсем невозможный.

— Но ведь он не придавал никакого значения стилю, — протестую я снова, — он хотел только высказать свои мысли, без-

различно как. Для него было важно не как, а что он хотел, чтобы читатели его поняли. Он спешил, не отделявая фраз и...

— Напрасно так спешно и так много писал, — насмешливо перебивает меня Бунин. — Поспешность нужна только при ловле блох. И такое трудолюбие, ежедневно покрывать страницы за страницами, тоже совсем ни к чему. Дает печальные результаты.

— Но ведь вы же не считаете Мережковского графоманом?

— Что за вздор! Я считаю его большим писателем, под старость лет сбившимся с пути и вообразившим себя — не без помощи той же Зинаиды Николаевны — Мудрецом и Проповедником с большой буквы. У него много ценного было и кроме трилогии. Хотя бы его замечательный «Гоголь и черт». Да и «Вечные спутники». Только вот его «Толстой и Достоевский» совсем плох. Никуда не годится. Ни в одном, ни в другом он ровно ничего не понял. Достоевским он был ушиблен раз навсегда, превозносил его, молился ему, а ведь Достоевский...

Но мнение Бунина о Достоевском, его презрение и ненависть к нему мне уж слишком хорошо известны. Мне не хочется в который раз слышать, как он издевается над ним, и я, чтобы переменить тему, спрашиваю:

— А помните, Иван Алексеевич, ваше посещение Мережковских после возвращения из Стокгольма?

Переход от Достоевского, на которого Бунин уже готов громоздочно обрушить свою ненависть и презрение, к событиям двадцатитрехлетней давности так неожидан, что заставляет его недоуменно сдвинуть брови.

— О чем вы это? После Стокгольма? Пойдите, пойдите, — и вдруг, оживившись: — Не о моем ли последнем визите на рю Колонель Боннэ? Когда Зинаида Николаевна, как оса, старалась меня побольней и полюбезней ужалить, а художник Х. вошел и, не заметив меня, воздел руки к потолку и гаркнул на всю столовую:

— Дожили! Позор! Позор! Нобелевскую премию Бунину дали!

Он высоко поднимает руки и сразу весь преображается. И вот уже передо мной не Бунин, а художник Х., с расширенными от ужаса глазами уставившийся на меня. Мгновение — и он, не меня выражения лица, срывающимся истерически-восторженным голосом взвизгивает:

— Иван Алексеевич! Дорогой! Поздравляю, от всего сердца поздравляю! Счастлив за вас, за всех нас! За Россию! Простите, не успел лично прийти засвидетельствовать...

Сходство так изумительно и сцена так неподражаемо великолепно разыграна, вернее — восстановлена, что я смеюсь. Смеюсь до слез.

А он, полюбовавшись впечатлением, произведенным на меня его актерским талантом (он втайне гордится им, несмотря на свою враждебность к театру и отрицание его), уже снова хмурится.

И уже совсем не похож на художника Х.

Март 1948 года.

Все тот же дом в Жуан-ле-Пэн.

Бунин сидит в кресле у окна нашей комнаты. В окне «дальний закат, как персидская шаль». На фоне его четко обрисовывается его гордый тонкий профиль, похожий на профиль какого-то римского императора на античной медали.

Он говорит:

— Я почти с самого детства, как только стал сознательно читать и понимать, очень много думал о героях и героинях романов. О героинях больше, чем о героях, и это меня удивляло. Женщины были мне как-то ближе, понятнее, их образы для меня полнее воплощались. Они как будто жили перед моими глазами, и я не только сочувствовал их горестям и радостям, но и соучаствовал в их жизни. Я влюблялся в героинь романов. Они снились мне. Даже днем иногда я чувствовал их присутствие. Сiju, бывало, за столом у себя и зубрю немецкие вокабулы — когда меня взяли из гимназии, со мной брат Юлий занимался и очень налегал на иностранные языки — и вдруг чувствую, что кто-то стоит за моей спиной, наклоняется надо мной, кладет мне руку на плечо, и легкая душистая прядь волос касается моей щеки. Я оглядывался — никого. Комната пуста и дверь плотно закрыта — меня охватывает такая тоска. Такое одиночество. Хоть о стенку головой.

Он вздыхает и, помолчав, продолжает:

— Да, все эти женщины и девушки из романов, в которых я поочередно был фантастически влюблен, играли большую роль в моем тогдашнем диком одиночестве. Я жалел, что мне никогда не придется встретиться с ними. Как я жалел, да еще и сейчас жалею, что никогда не встречался с Анночкой.

— С Анночкой? — удивленно переспрашиваю я. — С какой Анночкой?

— С Анной Карениной, конечно. Для меня не существует более пленительного женского образа. Я никогда не мог и теперь еще не могу без волнения вспоминать о ней. И о моей влюбленности в нее.

— А Наташа Ростова? Для меня Наташа...

Но он не дает мне договорить.

— Ну уж нет, простите. Никакого сравнения между ними быть не может. Вначале Наташа, конечно, прелестна и обаятельна. Но ведь вся эта прелесть, все это обаяние превращается в родильную машину. В конце Наташа просто отвратительна. Неряшливая, простоволосая, в капоте с засранной пеленкой в руках. И вечно беременная или кормящая грудью очередного новорожденного. Мне беременность и все, что с нею связано, всегда внушали отвращение. Не понимаю, как можно восхищаться женщиной, которая «ступает непроворно, неся сосуд нерукотворный, в который небо снизошло», — как пышно выразился Брюсов. Страсть Толстого к детопроизводству — ведь у него самого было семнадцать детей — я никак, несмотря на все мое преклонение перед ним, понять не могу. Во мне она вызывает только брезгливость. Как, впрочем, я уверен, в большинстве мужчин. А вот женщины, те действительно часто одержимы ею.

Была у моих родителей кухарка, отличная стряпуха. Таких пирогов, как она пекла, я никогда нигде не ел. И нрава прекрасного — работает не покладая рук, веселая, зубы скалит и песнями заливается с утра до ночи. Только иногда на нее тоска находила. Сидит, бывало, под окошком, пригорюнившись, и жалобно вздыхает: «Родонуть бы мне!» Протомится так с месяц, все хозяйство запустит. И лишь как снова забеременеет, снова развеселится, поет, пироги печет. А как родит дите, свезет его в «шпитальный» — незамужняя была. Через год, много два — затомится, затоскует и опять: «Родонуть бы мне!» — стонет.

Он с такой чисто бабьей иступленной страстностью произносит это «родонуть бы мне», что я смеюсь, безудержно раскатисто смеюсь.

— Родонуть бы мне, — повторяю я сквозь смех.

— Прошла охота хохотать? — спрашивает он, неодобрительно глядя на меня, — а веселиться абсолютно нечего. Не только мне, да и вам, насколько мне известно. Ведь и ваши дела-то не ахти как хороши. А мои просто хуже не бывает.

И он начинает жаловаться.

— Разве это жалкое прозябанье на земле можно назвать жизнью? А? Как по-вашему?

Я обрываю смех и растерянно молчу. Да и что я могу ему сказать? Ведь я уже столько раз слышала все эти жалобы.

Он поворачивается к окну и смотрит на великолепный, триумфальный феерический закат. Смотрит долго, не отрываясь. И вдруг говорит задумчиво, как бы про себя:

— Какая красота! Господи, какая красота.

Он поворачивает ко мне лицо, освещенное закатным светом.

— Меня иногда красота пронзает до боли. Иногда я, несмотря ни на что, чувствую острое ощущение блаженства, захлестывающего, уносящего меня, даже и теперь. Такое с ума сводящее ощущение счастья, что я готов плакать и на коленях благодарить Бога за счастье жить. Такой восторг, что становится страшно и дышать трудно. Будто у меня, как, помните, у Мцыри, в груди пламя, и оно сжигает меня. Или нет. Будто во мне не одна, а сотни человеческих жизней. Сотни молодых, безудержных, смелых, бессмертных жизней. Будто я бессмертен, никогда не умру. <...>

— Да, — говорит он, — дети в моей жизни не играли большой роли. Их было немного. Теперь вот Олечка Жирова. К ней у меня совсем особые чувства — уже не отцовские, а дедовские. Какая прелесть эта Олечка! Никто мне ее заменить не может. Я по ней скучаю, чудная девочка.

Я соглашаюсь:

— Действительно чудесная девочка. Но насчет дедовских чувств, нет, простите, Иван Алексеевич, у вас к ней, по-моему, скорее братские чувства. Когда я увидела, как вы с ней вокруг стола прыгали, я просто глазам своим не поверила. Не бабушка с внучкой, а двое ребят взапуски прыгают.

Да, я помню, я как-то случайно зашла к Буниным. Дверь мне открыла Вера Николаевна.

— Ян с Олечкой в столовой свой новый танец отплясывает, пойдемте полюбуемся на них, — весело предложила она.

И я действительно «полюбовалась», от удивления остановившись на пороге столовой. Надменный, гордый Нобелевский лауреат, казалось, превратился в семилетнего мальчика и самозабвенно, восторженно скакал и прыгал вокруг стола с прехорошенькой маленькой девочкой. Увлеченный танцем, он даже не повернулся, чтобы узнать, кто пришел. Должно быть, он даже не слышал звонка. Но Олечка уже бежала ко мне и вежливо, как полагается благовоспитанной девочке, поздоровалась со мной.

— Мы с Ваней танцуем новый танец, — деловито объяснила она. — Он его только сегодня выдумал. Он уже много танцев выдумал, — и она поощрительно, как старшая младшему, улыбнулась ему. — Он у меня умный, Ваня.

И Бунин весь засиял лучистыми морщинами ответной улыбки.

В тот день мне было дано впервые увидеть совсем другого, нового Бунина. Я и не предполагала, что в нем столько детского и такой огромный запас нежности.

С Олечкой он не только играл, исполнял все ее капризы и слушался ее. Рассердившись на него, она ставила его носом в угол, и он покорно простаивал в углу, пока она его не простит. Он писал ей шуточные стихи. Она была строгим критиком и не всегда хвалила их. Однажды она даже обиделась и возмутилась на описание угощения «Из кондитерской Блока» у одних знакомых — стихи эти были напечатаны в «Новом журнале». Олечка нашла их гадкими, поставила Бунина в угол и прочла ему нотацию.

Но чаще они проводили время в безмятежной дружбе, играли во всевозможные игры, танцевали и рассказывали друг другу сказки. <...>

Мне часто приходилось замечать, что Бунин притягивал к себе взгляды прохожих на улице.

Однажды, говоря о Бунине с Алдановым, очень любившим его и всегда восхищавшимся им, я спросила, замечал ли он это. Алданов закивал радостно, глядя на меня своими большими прелестными глазами лани, совсем не подходящими к его слегка обрюзгшему лицу:

— Ну еще бы, еще бы, не раз замечал. Иван Алексеевич, даже когда молчит, всегда попадает в центр, в фокус внимания присутствующих. Разве вы сами не чувствуете магнетических волн, идущих от него? Он обладает какой-то особенной гипнотической силой, — убежденно объяснял Алданов. — Он очаровывает собеседников и заставляет их соглашаться с собой. Этот редко встречающийся дар был присущ и Наполеону. У Наполеона он переходил даже, как вы изволите знать, в своего рода демонизм. Ведь Наполеон мог, когда хотел...

Я осторожно вернула Алданова, уже готового пуститься в историческую экскурсию о Наполеоне, к интересующей меня теме о Бунине.

— А вы, Марк Александрович, на себе испытывали обаяние Бунина?

Мой наивный вопрос даже удивил его.

— Ну конечно. Еще бы. Как же иначе? Для меня, когда Бунин в Париже (разговор наш происходил в 1930 году, когда Бунин большую часть года проводил в Грассе), наступают похожие на праздник «бунинские дни». Да, я их так и называю «бунинские дни». Присутствие Бунина все как-то меняет и украшает. И жить, и дышать становится как-то легче оттого, что он здесь. После каждой встречи, каждого разговора с ним я чувствую себя бодрее, лучше. Будто побывал у моря или в горах. Отдохнул. Помолодел душой. Никто на меня так благотворно не действует, как

Иван Алексеевич. У него действительно какая-то магическая власть над душами, умами и сердцами.

Я кивнула, соглашаясь, хотя на себе не испытывала магической власти Бунина.

— Вы правы, Марк Александрович.

Ведь Алданов не только от присутствия Бунина, но просто даже говоря о нем на моих глазах оживился и помолодел. А за минуту до этого он казался таким усталым и грустным.

Да, я в тот день действительно убедилась в магической власти и очаровании Бунина. <...>

